



*Книга первая*

**ВОЗВРАЩЕНИЕ  
НА РОДИНУ**

**1. Хмельной бродяга в седле**

В тихий сумеречный час на исходе апреля, в лето от Рождества Христова 1929-е, Джордж Уэббер облокотился на подоконник и вобрал взглядом Нью-Йорк — все, что мог увидеть из окна, выходящего на задворки. В конце квартала высилась громада новой больницы, верхние этажи ее ступенчато сужались, взмывающие в небо стены розовели в лучах заката. К ближнему углу огромного здания и к дальнему, напротив, примыкали два крыла пониже, где жили сестры и санитарки. Кроме больницы, в квартале тесно лепились еще с полдюжины старых кирпичных домов; они устало прислонялись друг к другу, Джордж видел их с тылу.

Было удивительно тихо. Все городские шумы доносились сюда, приглушенные расстоянием, точно смутный гул, — непрерывный, неумолчный, он казался неотделимым от тишины. Вдруг в открытые окна с фасада ворвалось хриплое рычание, это заводили грузовик у склада через улицу. Мощный мотор разогревался, рев нарастал, и вот залязгало, заскрежетало, и Джордж всем телом ощутил, как задрожал старый дом: грузовик вырулил на улицу и с грохотом покатил прочь. Шум отдалялся, слабел, потом слился с общим смутным гулом, и снова все успокоилось.

Джордж все глядел, высунувшись из окна, неизъяснимая радость прихлынула к горлу, и он что-то закричал в окно больничного крыла девушкам, которые,

по обыкновению, отглаживали свои две пары штанишек и тоненькие платышки.

Слабо, словно очень издалека, долетали к нему крики играющей на улицах детворы и негромкие голоса людей в домах. Он смотрел вниз, на прохладные косые тени — вечерний свет скользил по квадратикам дворов, и в каждом дворе открывалось что-то знакомое, очень и только свое: вот клочок земли, — какая-то миловидная женщина засадила его цветами, она выходила в брезентовых рукавицах, в соломенной широкополой шляпе и усердно трудилась по нескольку часов подряд; а вот крохотная зеленая лужайка, — здесь каждый вечер сосредоточенно поливает недавно посеянную траву лысый человек с красным квадратным лицом; в других дворах виднеется сарайчик, кукольный домик, мастерская, где иной деловой человек в часы досуга увлеченно что-то мастерит; или расставлены весело раскрашенный стол и два-три шезлонга под сенью большущего ярко-полосатого садового зонта — и хорошенькая девушка весь день сидит там и читает, на плечи наброшено пальто, под рукой — бокал вина.

Разлитый в воздухе покой, и закатный свет, и запах весны будто заворожили Джорджа, и ему казалось, он хорошо знает всех людей вокруг. Он любил старый дом на Двенадцатой улице — красные кирпичные стены, просторные комнаты с высокими потолками, темные деревянные панели и скрипучие полы, а колдовская эта минута словно одарила дом еще и каким-то печальным величием, оттого что долгих девяносто лет он укрывал в своих стенах столько человеческих жизней. Он и сам стал как живое существо.

Казалось, тут все живет и дышит — стены, комнаты, стулья, столы, даже влажное махровое полотенце, свисающее над ванной, даже брошенное на стул пальто и раскиданные по всей комнате рукописи, бумаги, книги.

Как хорошо снова очутиться здесь, вокруг все такое знакомое, и, однако, есть в этом что-то странное, неправдоподобное. С острым внезапным изумлением

6 Джордж в сотый раз за последние неделя напомнил

себе: ведь он и вправду возвратился домой, он снова дома — в Америке, в каменном человеческом муравейнике на острове Манхэттен, он вернулся к родине и любви; и в радости был привкус вины, оттого что вспомнилось: года не прошло с тех пор, как он уехал на чужбину, в гневе и отчаянии бежал от всего, к чему теперь возвратился.

В горькой своей решимости он тогда, прошлой весной, больше всего хотел сбежать от женщины, которую любил. Эстер Джек была много старше его, мужняя жена и мать взрослой дочери. Но она полюбила Джорджа такой полной, такой безоглядной любовью, что под конец он стал чувствовать себя в западне. Из плена этой любви он и жаждал вырваться, да еще — бежать от постыдных воспоминаний о яростных ссорах с Эстер, от душевного смятения, чуть ли не безумия, которое все нарастало в нем оттого, что Эстер пыталась его удержать. И вот он расстался с нею и удрал в Европу. Он уехал, чтобы забыть эту женщину, — и убедился, что забыть не может; только о ней и думал ежечасно, непрестанно. Опять и опять вспоминал ее — румяную, веселую, неизменно добрую и великодушную, по-настоящему талантливую, вспоминал все часы, что они провели вместе, — и мучительно но ней тосковал.

Вот так, убегая от любви, которая все еще его преследовала, он заделался бродягой в чужих краях. Объездил Англию, Францию и Германию, столько перевидал нового, столько народу встречал — пересек полконтинента, ругался, распутничал, пил, скандалил... однажды в какой-то пивнушке ему в драке проломили голову, выбили несколько зубов и перешибли нос. А потом он одиноко лежал на койке в мюнхенской больнице и смотрел в потолок — пока заживало разбитое лицо, оставалось только размышлять. Вот тут-то он наконец немножко набрался ума-разума. Прежнее безумие ушло, и впервые за много лет буря внутри утихла.

Ибо он постиг кое-какие истины, которые каждый должен открыть для себя сам, — и открыл

их, как положено каждому человеку: через испытания и ошибки, через заблуждения и самообманы, через ложь и собственную несусветную дурость, потому что бывал слеп и неправ, глуп и себялюбив, полон порывов и надежд, безоглядно верил и отчаянно запутывался. Там, на больничной койке, он заново пересмотрел всю свою жизнь и по крупицам извлек из нее суровые уроки опыта. И каждая постигнутая истина оказывалась такой простой и самоочевидной, что он только диву давался — как можно было этого не понимать! А все вместе они свивались в некую путеводную нить, что протянулась далеко назад, в его прошлое, и вперед, в будущее. И Джорджу думалось: пожалуй, можно стать истинным хозяином собственной судьбы, ведь теперь он всем нутром чувствует, к чему надо стремиться, но вот куда это чувство его заведет — как знать?

А чему же он научился? На взгляд философа, вероятно, немногому, однако же просто по-человечески это не так уж мало. Он жил, и каждый день, по сто раз на дню, в мелочах должен был что-то решать, повинуюсь всему, что было в нем заложено наследственностью и окружением, ходом мысли и кипением чувств, а решив, пожинал, что посеял, и на этом понял: даром ничто не дается. И понял — наперекор своему телу, до того непокорному и чуждому равновесия, что он порою чувствовал себя каким-то выродком, он все равно брат и родня всем людям на свете. Понял, что нельзя объять необъятное и надо знать меру своим силам и примириться с этим. Оказалось, многое, чем он терзался в последние годы, он растравил в себе сам, и это были неизбежные муки роста. И, что самое главное для человека, который вырос так медленно, — он как будто научился наконец не быть рабом чувств.

Чаще всего он попадал в беду оттого, что действовал очертя голову. Что ж, хорошо, он станет осмотрительней. Вся штука в том, чтобы взнудать ум и сердце — пусть будут заодно, а не тянут в разные стороны. Попробуем передать полноту власти рассудку и поглядим,

что получится; тогда, если разум скажет: «Вот оно!» — ты и сердцем рванешься к той же цели.

Это уже касается и Эстер, ведь он вовсе не собирался к ней вернуться.

Разум подсказывал: между ними все кончено — и пусть, так лучше. Но едва он приехал в Нью-Йорк, сердце подсказало позвонить ей — и он позвонил. Они встретились, и, конечно, все началось сначала.

Итак, они снова вместе, а ведь он был уверен: что-то, а это не повторится. И, однако, он счастлив, что вернулся к ней. Непостижимо!

Казалось бы, если идешь наперекор рассудку, ты должен чувствовать себя несчастным. Но нет, ничуть не бывало! Вот потому-то, пока он раздумывал, облокотясь на подоконник, а вокруг сгушались апрельские сумерки, его потихоньку грыз червячок совести, и он недоуменно спрашивал себя, насколько же у него мысли расходятся с делом.

Ему уже минуло двадцать восемь и хватало ума понять: человек далеко не всегда сознает, почему поступает так, а не иначе, и совсем не просто отбросить привычки и чувства, что складывались годами, ведь это не изношенная шляпа и не стоптанный башмак. Что ж, ему не первому приходится ломать голову над этой задачей! Перед таким же выбором оказывались порой и философы. И даже говорили по сему поводу разные мудрые слова.

«Глупая последовательность — пугало мелких душ», — сказал Эмерсон.

И великий Гёте примирился с суровой истиной, что путь человека к зрелости не прям, но извилист, и сравнил развитие и прогресс человечества с тем, как петляет, еле держась в седле, бродяга — хмельной всадник.

Быть может, не столь важно, что бродяга во хмелю не способен ехать прямо к цели, куда важней, что он все-таки оседлал коня и, пусть петляя и сбиваясь, все же куда-то едет.

Джордж Уэббер некоторое время тешился этой мыслью и, однако, довольный и успокоенный, все

еще чувствовал себя немножко виноватым. Пожалуй, где-то в его рассуждениях кроется уязвимое место.

Он непоследователен, он вернулся к Эстер, — разумно это или глупо...

Неужели хмельной всадник должен вечно плутать и петлять?

Эстер проснулась мгновенно, внезапно, как птица. Лежала на спине и широко раскрытыми глазами смотрела в потолок. Мигом ощутила себя, свое тело, — она готова встретить новый день.

И тотчас подумала о Джордже. Они помирились, заново обрели свою любовь, и все для них стало радостно и ново. Подобрали и сложили осколки прежней жизни, — и она вновь стала полна и прекрасна, как в самую лучшую пору, до отъезда Джорджа. Теперь он начисто избавился от безумия, которое чуть не погубило их обоих. Он и сейчас легко поддается настроениям, внезапной блажи, но и тени нет прежнего неистовства, когда на него накатывало и он яростно метался, крушил все кругом и в кровь разбивал кулаки о стену. Он стал спокойней, уверенней, куда лучше владеет собой и, похоже, каждым шагом и поступком старается показать, что любит ее, Эстер. Никогда еще она не была так счастлива. Как хорошо жить!

За окнами, на Парк-авеню, вновь появились прохожие, улицы становились все многолюдней. На столике у кровати часто-часто тикал будильник, нетерпеливо отсчитывал пульс времени, словно по-ребячьи спешил навстречу какой-то воображаемой радости, и где-то в доме размеренно, торжественно пробили часы. Утреннее солнце залило комнату, будто между делом высветило каждую мелочь, и в душе Эстер сказала себе: пора!

Нора принесла кофе и горячие булочки, и Эстер взялась за газету, просмотрела театральную хронику, список актеров, приглашенных играть в новой немецкой пьесе, ко-

приглашена мисс Эстер Джек». Прочла и рассмеялась: забавно, что ее называют мисс, и так ясно представилось, какой ужас выразится на его лице при виде этих строк (а какое у него было лицо, когда маленький портной решил, что она его жена!), и так приятно увидеть свое имя в газете: «...мисс Эстер Джек, которая своим искусством завоевала общее признание как один из самых выдающихся современных театральных художников».

Веселая, счастливая, довольная собой, она сунула газету в сумку вместе с кое-какими прежними вырезками и прихватила их, отправляясь на Двенадцатую улицу, где она каждый день навещала Джорджа. Дала ему газеты и усе-лась напротив, чтобы видеть его лицо, пока он читает. Она помнила все, что там писали о ее работе:

«...Работа тонкая, ищущая и ненавязчивая, в которой чувствуется особый, горький и едкий юмор...», «...заставляет автора этих строк на старости лет по-детски восхищаться уверенным мастерством и силой воображения, ничего подобного не дарил нам нынешний театральный сезон, столь богатый блестящими, но поверхностными постановками...»

«...Ее непрехотливые декорации, веселые, легкие, обладают всеми достоинствами, каких мы уже привыкли ждать от этой художницы, которая беззаветно предана капризной и подчас неблагодарной госпоже сцене...»

«...Великолепное озорство, которое чувствуется в причудливых декорациях проказливо-насмешливого и — надо ли напоминать? надо ли извиняться за напоминание? — искусного мастера...»

Она еле удерживалась от смеха, — так презрительно кривились губы Джорджа, так ехидно передразнивал он рецензентов:

— «Проказливо-насмешливого!» Прелестно, черт подери! «На старости лет по-детски восхищаться», — видали, какой оригинал, сукин сын! «Подчас неблагодарная госпожа», — скажите пожалуйста!.. «и надо ли напоминать!» — ах-ах, мне дурно, душенька! Дайте мне чесноку!



Он швырнул газеты на пол и с напускной суровостью обернулся к Эстер, от уголков глаз разбежались смешливые морщинки.

— Ну-с, накормят меня сегодня? Или ты будешь упиваться этой мутью, а мне — помирать с голоду?

Эстер больше не могла сдерживаться и закатилась хохотом.

— Но это же не я! — задыхаясь, насилу выговорила она. — Это не я писала! Я не виновата, что они так пишут! Жуть, правда?

— Ну да, и, может, тебе это противно? — сказал Джордж. — Ты все это смакуешь! Сидишь тут и облизываешься, наслаждаешься их славословиями и моими муками! Известно ли тебе, о женщина, что я не ел со вчерашнего дня? Накормят меня или нет? Может, ты вложишь свое искусное воображение в бифштекс?

— Вложу! — сказала Эстер. — Хочешь бифштекс?

— Может, ты заставишь меня на старости лет по-детски восхищаться отбивной под нежнейшим луковым соусом?

— Да, — сказала она, — о да!

Он подошел, обнял ее, заглянул ей в глаза любящими и жадными глазами.

— Может, ты приготовишь мне какую-нибудь тонкую, ищущую и ненавязчивую подливку — ты ведь на них такая мастерица?

— Да! Сделаю для тебя все, что хочешь!

— А почему?

То был обряд, который оба знали наизусть, не пропускали ни одного вопроса, ни ответа: каждому хотелось опять и опять слышать от другого эти слова!

— Потому что я тебя люблю. Потому что хочу кормить тебя и любить тебя.

— И это будет хорошо? — спрашивал Джордж.

— Так хорошо, что и сказать нельзя, — отвечала Эстер. — Будет хорошо, потому что я такая хорошая и красивая и все делаю прекрасно, ни одна женщина на свете для тебя лучше не сделает, и еще потому, что

я тебя люблю всеми силами души и хочу, чтоб мы были — одно!

— И эту великую любовь ты вложишь в стряпню?

— В каждый лакомый кусочек! Ты утолишь свой голод как никогда. Это будет чудо из чудес, и отныне ты станешь лучше и богаче телом и душой. Ты запомнишь это на всю жизнь. Это будет восторг и упоение.

— Значит, это будет такая еда, какой еще никто на свете не пробовал, — сказал Джордж.

— Да, — отвечала она. — Конечно.

И это была правда. Никогда ничего подобного не было в мире, пока вновь не настал апрель.

Итак, они снова вместе. Но что-то между ними переменялось. Даже и внешне. Они уже не довольствовались общим скромным жилищем. Возвратясь в Нью-Йорк, Джордж с первого же дня наотрез отказался вновь поселиться на Уэверли-плейс, в прежнем убежище их любви, жизни и работы. Взамен он снял две просторные комнаты на Двенадцатой улице — они занимали весь второй этаж, и их можно было превратить в один огромный зал, стоило лишь открыть раздвижные двери. Тут была и крохотная — только-только повернуться — кухонька. Все это отлично устраивало Джорджа: и места вдоволь, и никто не мешает. Эстер может приходить и уходить, когда захочет; они могут быть здесь вдвоем, и только вдвоем, когда пожелают; здесь они могут вволю упиваться любовью.

Но самое главное: это дом не общий, а его, Джорджа, и потому теперь их отношения строятся на иной основе. Отныне он не допустит, чтобы вся его жизнь перепуталась с любовью. У Эстер свой мир — театр, богатые друзья, а его это не касается, у него свой мир — литература, и тут надо справляться одному. Всему свое место и свой черед: любовь любовью, но он останется верным себе, хозяином своей жизни и своей души.

Примирится ли с этим Эстер? Согласится ли принять его любовь, но дать ему свободу жить

и работать по-своему? Так должно быть, сказал он ей, и она ответила: да, она все понимает. Но сумеет ли она? Способна ли женщина по самой природе своей удовольствоваться тем, что может дать ей мужчина, и не посягать на то, чего он отдать не вправе? Уже сейчас иные мелкие предзнаменования заставляли его в этом сомневаться.

Однажды утром Эстер пришла и оживленно, весело стала пересказывать какую-то забавную уличную сценку... и вдруг умолкла на полуслове, по лицу ее прошла тень, она поглядела с тревогой и неожиданно спросила:

— Ты ведь любишь меня, Джордж?

— Да, — сказал он, — конечно. Ты же знаешь.

— Ты никогда больше меня не бросишь? — На миг у нее перехватило дыхание. — Будешь вечно меня любить?

Джорджа изумила и эта внезапная смена настроений, и самый вопрос: вот нелепость, как будто он или кто угодно другой по совести может поручиться за свои чувства, за верность навеки! И он расхохотался.

Эстер нетерпеливо махнула рукой.

— Не смейся, Джордж. Мне надо знать. Скажи. Ты будешь вечно меня любить?

Она спрашивала так серьезно, но что же тут ответишь? Джорджа взяла досада, он встал из-за стола, минуту смотрел на Эстер, будто не видя, и начал ходить из угла в угол. Раза два приостановился, оборачивался к ней, но было не так-то легко выговорить нужные слова, и он опять принимался беспокойно шагать по комнате.

Эстер зорко следила за ним, поначалу она смотрела и весело, и сердито, а потом в глазах разгорелась тревога.

«Ну, что я такого сделала? — думалось ей. — Господи, что за человек!»

Никогда не знаешь, чего от него ждать. Задаешь самый простой вопрос — и вот, не угодно ли, как он себя ведет! Правда, прежде он еще и не то вытворял. Бывало, мигом взорвется, ругает меня на чем свет стоит. А вот сейчас что-то в нем бурлит, а о чем он думает, понять

невозможно. Надо же, мечется, как зверь в клетке! Этаким обезьян с бурей страстей в груди!»

А Джордж в минуты волнения и правда походил на обезьяну. Мощный торс, могучие широкие плечи, на ходу слегка сутулятся, длинные руки свисают чуть не до колен, свободно болтаются крупные кисти, а пальцы, на концах словно сплюсненные, подвернуты внутрь, — ни дать ни взять звериная лапа. Голова, прочно сидящая на короткой шее, немного выставлена вперед, и весь он словно пригнулся: то ли чувствует опасность, то ли готовится к прыжку. Он даже кажется меньше ростом, на самом деле он немножко выше среднего — метр семьдесят три или семьдесят пять, однако ноги не совсем соответствуют такому мощному торсу. Да еще и черты лица не крупные — нос как бы приплюснут, глубоко сидящие глаза глядят из-под густых, нависших бровей, и лоб довольно низкий, от бровей до волос не так уж далеко. А когда он взволнован или чем-то увлечен, он как-то особенно сосредоточенно смотрит исподлобья, и при том, что голова всегда выставлена немного вперед, а все тело наклонено, в такие минуты еще сильнее его сходство с шимпанзе или орангутаном. Не удивительно, что кое-кто из друзей зовет его «Обезьян».

Минуту-другую Эстер не сводила с него глаз, огорченная и обиженная тем, что не получила ответа. Джордж остановился у окна и смотрел вниз, на улицу, Эстер подошла и тихонько взяла его под руку. Она видела, как вздулась жилка у него на виске, и понимала, что говорить сейчас не надо.

Из соседнего дома (там помещалось отделение профсоюза портных) выходили маленькие щуплые евреи и останавливались посреди улицы. Бледные лица, немые волосы, одежда в пятнах, но сколько живости! Кричат, машут руками, все сильнее горячатся, легонько похлопывают друг друга по щекам, гортанно приговаривая: «Нет! Нет! Нет!» Разъяряясь, но все еще с улыбкой (а видно, руки так и чешутся) закатывают друг другу оплеухи покрепче. И, наконец, уже вопят в полный голос и лупят почем зря. Другие кричат и ругаются, иные смеются, не-